

Анна Саакянц

Священная ревность

К 105-летию со дня рождения Марины Цветаевой
и 85-летию со дня рождения Ариадны Эфрон

Как можно, любя человека, отдавать его всем?... Как можно это вынести — перевод его почерка на лино- или монотип? с бумаги той на бумагу эту?

Где же ревность, священная после смерти?

Марина Цветаева

Зная Ариадну Сергеевну Эфрон и общаясь с нею около пятнадцати лет, я была свидетелем, как проявлялась в ней эта посмертная дочерняя ревность к материнскому творческому наследию. Больше всего на свете желая, чтобы произведения Марины Цветаевой были опубликованы на родине, делая для этого все, что было в ее силах, Ариадна Сергеевна опасалась доверить их в чужие руки, которые сделают "не то" и "не так". Она считала себя вправе скрывать то, что полагала необходимым скрыть, а также домысливать на свой лад то, что, по ее мнению, было необходимо, и творить легенды (чуть ли не цензурные!), уверенная, что *мама ей простит*. (Оговорюсь сразу: я не касаюсь так называемых "семейных тайн", которые родственники, как правило, скрывают от посторонних глаз). Но ведь для того, чтобы в те смутные времена издавать Цветаеву, приходилось именно отдавать (передавать) материнские творения в посторонние — редакторские, издательские, цензорские — руки, и таким образом всякий раз как бы отречься от себя. И здесь драматическая раздвоенность проявлялась в дочери почти так же, как проявлялась в ее матери.

В свои легенды Ариадна свято верила, невольно обманывая саму себя. Начать можно с любой.

Речь о прототипе героя поэмы "Егорюшка" — Борисе Бессарабове, которым Марина Ивановна была недолгое время увлечена, а сама Ариадна Сергеевна вспоминала о нем с теплотой. Разочаровавшись в этом человеке, которого считала "парой" к своей "Царь-Девнице" (героине предыдущей поэмы), Цветаева писала С.Волконскому, старому аристократу и новому своему увлечению, что прежде дружила с Бессарабовым, "...а теперь вижу, что это просто зазнавшийся дворник, а прогнать не могу. Слышу дурацкий хамский смех и возгласы вроде: "— Эх, черт! Что-то башка не варит!" — и чувствую себя оскорбленной до заледенения, а ничего поделать не могу".

Эти слова Ариадна Сергеевна никогда мне не показала. Осталась легенда о замечательном "молоденьком красноармейце", юном друге Цветаевой...

Но и с князем Волконским отношения

были не столь однозначно-восторженными (со стороны Марины Ивановны). Когда-то Ариадна Сергеевна в числе прочих цветаевских записей дала мне такую:

"Желая польстить *нам*, цари хвалят: чашку, из которой мы их угощаем, копейного петуха в руках нашего ребенка, то есть вещественное, то есть *их*, то, чем *они* так сверх-богаты".

И не дала главную, "резюме":

"Вся моя история с Волконским".

Точно так же, зная от Ариадны Сергеевны записи ее матери о Волконском, я никогда не видела, например, таких: "Ласковость, за которой — что? Да ничего".

(Она говорит о "неслышанье", "незамечанье" Волконским того "лишнего", что шло от нее. Как в стихотворении "Волк": "Ненасытностью своею / Перекармливаю всех").

"Ум насыщен, душа впроголодь. Так мне и надо".

Это — тоже к Волконскому.

Правда, такие подробности ничуть не меняли суть отношения Марины Цветаевой к Сергею Эфрону, к которому она сохранила привязанность на всю жизнь. Но речь я веду не о матери, а о дочери. Об Ариадне Эфрон, во всех проявлениях именно *цветаевских* черт, порой — несправедливых и противоречивых поступках, но все равно масштабных, под стать ее именно масштабной, большой личности.

Священная ревность проявлялась в самых разных жизненных сюжетах. Вот один.

Много лет назад одна знакомая рассказала, что задумала написать статью: кажется, о Цветаевой и Маяковском. Встретилась с Ариадной Сергеевной. Четко помню ее слова: "Она как навалилась на меня, стала говорить, настаивать, что и как я должна писать..." Не помню, была ли написана злополучная статья...

Что до меня, то я в те далекие годы вознамерилась написать работу о поэме "Молодец". Ариадна Сергеевна живо откликнулась на мой замысел; в письме от 1 июня 1966 года она рассуждает о приметах, роднящих творчество Марины Цветаевой с народным, и настоятельно советует мне вести разбор поэмы, в частности, "от лубка и от Рублева" (огонь и лазурь). То есть предлагает формаль-

ный, искусствоведческий подход. Не говоря уже о том, что так называемое "...ведение", особенно литературоведение, всегда было для меня делом чуждым и бессмысленным (как бы вслед самой Марине Ивановне!), но ведь и "Молодец" — это прежде всего поэма психологическая, с ее лабиринтом чувств и страстей. Это поэма о трагической, невозможной, *неможной* любви, единственное осуществление которой — тот свет, иной мир — полет в "огнь синь". Так, по-фаустовски, переосмысливает Цветаева сказку "Упырь". При чем тут лубок, Рублев? Я очень расстроилась и писать ничего не стала. Потому что не показать статью Ариадне Сергеевне было невозможно; она же непременно раскритиковала бы мой труд; она как бы наперед была несогласна с тем, что мы пишем (и напишем) о ее матери, ревнуя как к настоящему, так и к будущему...

Воспоминание об истории с "Молодцем" наводит меня сегодня на попутную мысль. Герой поэмы Цветаевой — *добрый*, страдающий *молодец*, некое олицетворение слабости, бьющей иной раз пуще любой силы. Говорю об этом в связи с тем, что Ариадна Сергеевна не раз с досадой говорила о ничтожестве, незначительности, слабости тех, к кому влеклась Цветаева: А.Бахрахе, Н.Гронском, А.Штейгере... Много позже я убедилась, что все было далеко не так — хотя бы с Анатолием Штейгером. Ариадна Сергеевна однажды извлекла из материнского архива отрывки из письма-ответа Цветаевой Штейгеру, и мы с удовольствием опубликовали их в "Новом мире" (1969, №4). Но как выяснилось впоследствии, это был черновик письма: Цветаева отправила адресату совсем другое, мягче; и вообще история этого эпистолярного романа свидетельствует вовсе не о слабости молодого поэта, а о его благородстве и мужестве. И даже если Ариадна Сергеевна не были известны все материнские письма к Штейгеру и его ответ, то ведь она помнила его еще по школе в Моравской Тшебове (Штейгер-то Алю отлично помнил и в своем письме к Цветаевой защитил ее от несправедливых материнских нападок).

Но дочь всегда оставалась при своем мнении, своей легенде. Она была непревзойденной.

...А еще я, наивная, в середине шестидесятых задумала написать... книгу о Марине Цветаевой. Даже заявку в издательство собиралась подать (конечно, показав ее предварительно Ариадне Сергеевне). И получила от нее подробный отклик: как нужно составлять заявку, какие акценты сделать, не раскрывая при этом замысла книги, дабы не воспользовались моими соображениями другие; что в первую очередь нужно сказать и т.п. Но подспудный смысл письма был — и я его отлично уловила — рано мне еще соваться с книгами. Я и не сунулась; впрочем, в те годы мечта о книге была чистой утопией.

Да и о какой книге могла идти речь (если бы даже в издательстве и приняли мою заявку), когда Ариадна Сергеевна пыталась "исправить" *воспоминания* Павла Антокольского, знавшего ее мать в юности, когда самой Але было всего шесть-семь лет?

Напомню: Антокольский рисовал Цветаеву статной, широкоплечей, стянутой в талии широким желтым ремнем, с кожаной сумкой через плечо и с "широкими мужскими шагами". Неудовольствию Ариадны Сергеевны не было предела, она отправила Антокольскому письмо, настаивала, что облик Цветаевой был совсем иным, женственным, что она любила платья, "являвшие тонкость талии и стройность фигуры... И шаги были не мужские... а стремительные легкие мальчишечьи. В ней была грация, ласковость, лукавство — помните? Ну, конечно же — *помните*. *Легкая* она была", — внушала она Антокольскому.

Оба, на мой взгляд, преувеличивали: каждый — свое.

Ариадна Сергеевна плохо относилась к воспоминаниям о матери, которые начали появляться на Западе в пятидесятые годы, а позже и у нас; считала их попытками с негодными средствами, то есть "мелкими", "не в рост" Цветаевой. И в самом деле, никому до сих пор не удалось воссоздать масштабный портрет поэта, кроме самой Ариадны Эфрон, которая, увы, не написала и трети того, о чем должна была вспомнить. Не успела...

Легковесными Ариадна Сергеевна считала воспоминания Анастасии Цветаевой, что было ей особенно больно. За многословием, по ее мнению, неза-

Ариадна Эфрон.



метно терялась суть, серьезность описываемого. Вышедшие впоследствии трижды, "Воспоминания" были изрядно сокращены. Я же застала, что называется, подготовительную стадию. Большими порциями мемуары Анастасии Ивановны перепечатывались на машинке, и я в 1962 году по просьбе Ариадны Сергеевны приходила на улицу Медведева, неподалеку от бывшего "Старого Пимена", в нелепую коммунальную квартиру, и частями забирала перепечатанное у Анастасии Ивановны. Наши отношения с нею всегда оставались хотя и далекими, но вполне доброжелательными — невзирая на злобное жужжанье окружающих сплетниц. Но это уже отдельная история...

Вернусь, однако, к своему рассказу. В 1965 году, после выхода цветаевского тома в "Библиотеке поэта", мы сделали попытку напечатать и прозу. Одним из таких усилий был мой поход в "Новый мир" с цветаевским "Пушкиным и Пугачевым". В редакцию, как мне сказали в журнале, уже были сданы отрывки из воспоминаний Анастасии Ивановны. И когда они появились в первых двух номерах следующего года, а "Пушкина и Пугачева" отложили на неопределенный срок, вот тут-то Ариадна Сергеевна страшно расстроилась, приписав очередную неудачу с Мариной Цветаевой року, тяготеющему над семьей (своей семьей: Марины Ивановны, Сергея Яковлевича и Мура).

Я страшно ей сопереживала и, подумав, написала очень сердитое письмо Анастасии Ивановне, основной "пафос" которого был: непоставимость ее литературных данных с могучим талантом сестры. Но, к счастью, не отправила и даже не показала Ариадне Сергеевне.

Сейчас, когда неумолимо растет время, отделяющее меня от *живой* Ариадны Сергеевны, я все больше понимаю ее мысли и поступки, недоосознанные в молодые годы.

...Летом 1962 года в Тарусу приехал студент из Киева. Что называется, "по велению сердца", не озаботившись обратиться в первую очередь к Ариадне Сергеевне (то, что ее в тот момент не было в Тарусе, дела не меняло), он попытался поставить над Окой, близ могилы Борисова-Мусатова, памятный камень с надписью: "Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева" (так она просила в очерке "Хлустовки"). Ариадну Сергеевну это страшно взволновало, она подняла на ноги цветаевскую комиссию: Орлова, Эренбурга, дабы воспрепятствовать этой "суете", как она говорила. В результате камень, конечно, установлен не был. Кое-кто из трусливой "интеллигенции" (никогда не вынимавшей фи́ги из кармана) осудил Ариадну Сергеевну за чрезмерное осторожничанье. Но ведь ясно, что установление памятника поэту в обход дочери было попросту оскорбительным. В подобных "энтузиастах" Ариадна Сергеевна видела прежде всего "сенсационеров" (ее словечко), желающих быть причастными к великому имени. Впрочем, когда гнев ее поостыл, она отозвалась о киевском студенте так: "...чудесный мальчик, вполне, весь, с головы до ног входящий в цветаевскую формулу "любовь есть действие"... И *мне*, дочери, пришлось бороться с ним и *побороть* его. Все это ужасно. Трудно рассудку перебарывать душу, в этом всегда какая-то кривда", — писала она В.Орлову.

(К счастью, Ариадна Сергеевна не дождала до того времени, когда по кладбищу в Елабуге начали ползать полусумасшедшие девицы в поисках якобы истинного места захоронения Цветаевой и ставить кресты...)

Москва

Продолжение следует.